

Мать, пожирающая своих детей

Экранная судьба Великой французской революции была не слишком удачна. До последнего времени лучшим фильмом, ей посвященным, был «Дантон» Анжея Вайды с Жераром Депардьё в главной роли

Кинематографисты охотно брались за революционные сюжеты, однако при этом трактовали историю по Дюма-отцу, в книгах которого, как известно, миром движет любовный пыл. При всей привлекательности и кинематографичности такого подхода, придающего событиям личностный характер, он оставлял за кадром главное, что поражает в ходе революции, — его неумолимость, независимость от воли участников. Сценическую и экранную драму двигают люди. Историческая драма *двигает людьми*. Кто в 1788 году предполагал гражданскую войну, республику и царство «национальной бритвы», которая «счихнет» в корзину лучшие головы Франции? Аппетит приходил во время еды. В начале революции Марат хотел для счастья Франции срубить 5 — 6 голов. Через каких-нибудь три года неутомимый друг народа требовал уже 500 — 600 тысяч. И если бы Шарлотта Корде его не зарезала, в 1794-м он бы сказал, подобно Калигуле: «Жаль, что у французского народа не одна голова: как хорошо было бы снести ее одним ударом!»

Сериал «Французская революция» (продюсер Александр Миушкин, сценарий Дэвида Эмброуза, постановка Роберта Энрико и Ричарда Т. Хефрона) снят не по Дюма. В нем нет идеи (действительной или мнимой), способной объяснить исторические события. Он лишь добросовестно воспроизводит эти события, стократно описанные в трудах историков.

По всему видно, что на постановку истрачены немалые деньги — массовые съемки обходятся дорого. Но как бы ни был длинен сериал, с «Санта-Барбарой» ему не тягаться. Режиссеры пытались избежать иллюстративности, но исторического материала оказалось больше, чем пленки. Сцены и персонажи сменя-

ют друг друга так быстро, что нет времени почувствовать в происходящем. А жаль, потому что почти за каждым из действующих лиц — за Лафайетом, Мирабо, Маратом, Баррасом или Фуше — стоит история, заслуживающая подробностей или отдельного повествования.

Русская революция 1917 года выдвинула немало любопытных личностей, но столь ярких и талантливых людей среди них не было — может быть, именно потому, что марксистско-ленинское учение умаляло роль личности в истории.

В фильме занято много хороших актеров, но среди них выделяются два — Клаус Мария Брандауэр (Дантон) и Дж. Ф. Балмер (Людовик XVI). Дантон вообще принадлежит к числу наиболее обаятельных героев революции — умный, энергичный, жизнелюбивый, великодушный, в меру циничный и слишком большой для того, чтобы оказаться незамеченным в начавшейся мясорубке. Брандауэр чутьем великого актера угадывает суть этого характера — что не получилось у Депардьё, хотя в жизни он куда больше похож на своего героя. У его Дантона нет иллюзий. Это фанатики вроде Робеспьера (Анжея Северин) и Сен-Жюста (Кристофер Томпсон) могут думать, что они управляют событиями. Он один понимает, что их всех — роялистов, конституционалистов, жирондистов, якобинцев — несет один мощный поток, и грести против него бессмысленно, можно лишь с временным успехом оседлать его. Он один способен заплакать, узнав о казни своих противников. Один способен раскатыться — в том, что думал, будто видимость законности лучше бессудных «народных» расправ, и способствовал учреждению революционных трибуналов. Среди всеобщего лицемерного пародолобия он



один мог сказать: «И эта сволочь будет орать: «Да здравствует революция!», когда меня повезут на эшафот!»

Палмер создает необычный образ Людовика, которого вечно рисуют бесхарактерным и двоедушным. Его король просто бессилён — сначала перед собственной монархией, затем перед республикой. Он узник и заложник сошедшей с ума страны, после возможной захотевшей несбыточного. Если он и виновен, то неподсуден. И потому исполнен достоинства перед пародией на суд, которую устроил Конвент. Ибо к чему все судебные процедуры, если собрание депутатов под давлением парижской черни простым голосованием может вотировать смерть?! Сен-Жюст с торжеством, Робеспьер с лицемерием, Дантон — со стыдом и ужасом.

Как и в русской революции, убийство бывшего самодержца стало чертой, за которой начался беспредел: если так можно обойтись с королем, что говорить о прочих? Внешне величественный, а по сути позорный процесс Людовика открыл дорогу уже во всех отношениях гнусному суду над королевой и прочим прелестям «революционного правосудия». И когда полуживого Робеспьера укладывают на доску гильотины, испытываешь противоестественное облегчение: революция, сожрав наиболее яростных своих исчадий, наконец положила под нож самое себя.

■ Виктор МАТИЗЕН